

Глеб Иванович Успенский

Отцы и дети



Глеб Иванович Успенский
Отцы и дети
Серия «Очерки переходного
времени», книга 1

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=666105*

Аннотация

«...Хлопоты и жертвы по этому поводу начались со дня рождения. Сообразно блестящей будущности сына, Руднев, во-первых, устроил великолепнейшие крестины: купель добыли новую, люлька была сделана на заказ: две в городе только и было таких люльки: у губернатора да у Руднева. Пиршество крестин совершалось шумно и торжественно. Пьянство затеялось невыносимое, так что некоторые из сослуживцев Руднева долго потом вспоминали, как проснулись они после крестин в какой-то чужой бане и проч. и проч. Отец в приливе радости как сумасшедший совался с бутылками, угощая гостей, и в это время выслушивал разные пожелания и советы опытных людей...»

Содержание

1	4
2	11
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Глеб Иванович Успенский

Отцы и дети

Время до и после

*Севастопольской войны*¹

1

Иван Матвеевич Руднев, служащий в губернском правлении, был «чиновник» в полном смысле этого слова, то есть был уже титулярный советник, в скором времени ждал пряжку за усердную и беспорочную службу², имел многочисленное семейство, упоминая о котором, он не пропускал случая вставить словцо «обременен!», давая тем знать, что в многочисленности семьи он не виноват и терпит эту беду неизвестно из-за чего. Впрочем, подобные оправдания Рудневу приходилось предъявлять уже тогда, когда обстоятельства скрутили его не на шутку и когда ему пришлось разнообразить жизнь исключительно нюхательным табаком да попойками и слушать ежеминутные упреки жены, постоянно повторявшей ему: «Полно тебе цедить-то!.. Что это такое? Как ни

² *Пряжка* – нагрудный знак, которым награждались чиновники за беспорочную службу.

бьется, – а к вечеру все пьян напьется!..» Жена смутно предчувствует, что конца этому не будет никогда, потому что никогда не кончится печальное положение ее мужа. Муж ее дошел до этого положения не вдруг, а шаг за шагом: и у него тоже был свой золотой век, который, конечно, не повторится, все изменялось самым постепенным образом. Неизменным оставалось только ежегодное рождение детей, которые в настоящую минуту составляют огромную массу ртов, требующих пищи. Разношерстные эпохи, в которые родились и росли дети, развили их совершенно различным образом и разделили их на детей, росших с *призором*, и на детей, росших *без призора*, причем главную роль играли учителя и воспитатели, под влиянием которых росли дети.

Золотой век выпал на долю первенца сына, Павла. В это время Руднев быстро шел в гору; в каких-нибудь два или три года из оборванного, смиренного, но в высочайшей степени прилежного писца он превратился в секретаря; почти с невероятной скоростью явились у него свой домик со службами и с баней, хоть и плохенькая, но своя лошадь и, наконец, дородная жена, которая пришлась как раз по мыслям молодого секретаря: была молчалива с мужем, величая его по имени и отчеству, и в видах хозяйских интересов воевала с кухарками и горничными. Картина семейного счастья была скоро окончательно пополнена рождением сына: стало быть, Руднев обладал полным довольством: свой дом, лошадь, супруга, детки, – все как следует. Павлуша, таким образом, ро-

дился при самых счастливых обстоятельствах; это глубоко сознавал его родитель и не сомневался в счастье сына, хотя тот родился и не в сорочке. Толпы баб, нахлынувшие в дом Руднева неизвестно откуда и неизвестно как пронюхав про родины, сумели привести тысячи примеров, по которым родившиеся в сорочках оказались самыми несчастнейшими людьми, негодьями, а, напротив того, родившиеся без сорочек были головы над многими головами. Стало быть, и тут хорошо. Влюбленный отец, задолго еще до рождения сына, дал искреннейший обет не щадить живота своего для того, чтобы сын вышел человеком как следует, то есть мог бы выйти в люди и прославить род свой.

Хлопоты и жертвы по этому поводу начались со дня рождения. Сообразно блестящей будущности сына, Руднев, во-первых, устроил великолепнейшие крестины: купель добыли новую, люлька была сделана на заказ: две в городе только и было таких люльки: у губернатора да у Руднева. Пиршество крестин совершалось шумно и торжественно. Пьянство затеялось невыносимое, так что некоторые из сослуживцев Руднева долго потом вспоминали, как проснулись они после крестин в какой-то чужой бане и проч. и проч. Отец в приливе радости как сумасшедший совался с бутылками, угощая гостей, и в это время выслушивал разные пожелания и советы опытных людей.

– Дай бог растить – себе на утешенье!.. Вырастет – вельможей будет! не забудьте нас тогда! – говорили одни.

– Дитя есть мягкий воск! – вставлял приходский батюшка.

– Ты вот что, Иван Матвеевич, – советовал Рудневу один из сослуживцев, опытный в битвах семейной жизни. – Как ты думаешь детей растить?

– Как-нибудь... Как бог укажет... Выкушайте!..

– Ты постой... я выкушаю... А ты, я тебе откровенно скажу, даже не знаешь, как и пороть ребят... Знаешь ли?..

– Кушайте, Семен Прокофьич! Истинным богом говорю вам – знаю!

– Врешь!.. Ничего ты не знаешь и должен слушать меня!..

Но первенец был так счастлив, что положительно не мог рассчитывать на воспитание такого рода. Отец стыдился мысли учить таким образом будущего замечательного человека и, поддакивая советам товарищей, вовсе не хотел им следовать. Он не хотел дать сыну своему печального детства, потому что уже заранее полагал его вполне счастливым; при этом он не думал о развитии его, ибо никогда не слышал такого слова, не думал подмечать те или другие его наклонности, потому что никогда бы не подметил их; вместо этого он только твердо верил в счастье сына, не думая о том, как оно случится и чем возьмет при этом его сын. С своей стороны, отец, по понятиям множества таких же отцов, делал все: одни крестины чего стоят! сколько шуму и грому, сколько высыпано денег и проч. и проч. Давши сыну хорошую кормилицу, отец, таким образом, сделал все для детства любимого первенца и – не могу утаить – с приятностью ждал в буду-

щем процентов на затраченный капитал в виде беспредельной преданности и беспредельной сыновней благодарности.

Павлуша был выкормлен и сложен хорошо; все, что ни делалось вокруг него, все, что ни говорилось кругом, он сохранил навсегда в своей памяти. Делалось все для Павлуши, говорилось только о нем и о желании ему всяких благ, – а между тем в настоящую пору, когда он имеет время сознательно припомнить свое пряничное детство, ему видится несчастье, корень всяких бед именно в этой безграничной и крайне беспутной любви, которая окружала его. Хороша награда за родительские ласки! Отец, целые дни занятый на службе, принужден был ограничивать изъявления своей любви покупкою игрушек; игрушки эти были всегда дорогие и самые лучшие, – лучше их уже не было; но они почему-то скоро бросались Пашей. Какой-нибудь покачивающийся на крутых полозьях конь или изящный домик с окнами и дверями, как у настоящих домов, скоро валялись заброшенными где-нибудь под кроватью и вовсе не занимали Павлушу. Раз только отец купил ему коня, который сам бегал на колесах по комнате, – этот конь был скоро тоже брошен, но не потому, чтобы не занимал Павлушу, а потому, что весь был разобран, до последней ниточки, и все колесики, составляющие скрытый механизм игрушки, были тщательно пересмотрены. Эту игрушку Паша долго помнил и все просил купить еще такую же; но любящий отец покупал ему другую игрушку, втрое дороже: какой-нибудь раззолоченный кивер или саблю и ве-

рил, что он делает для сына втрое больше, нежели тот хочет.

Целые дни, по уходе отца в должность, Павлуша оставался на руках матери, которая тоже каждую минуту готова была положить за него жизнь и, как будто в силу этой безграничной любви, старалась очистить голову сына от всякой работы. При этом она руководствовалась тем же правилом, *как и другие*; у других главным достоинством в детях считалось, – чтобы они не мешали и не шумели; настоящей хозяйке куда как неприятно, если резвый ребяческий смех и говор мешает ей думать над шитьем мужниной манишки или заглушит бой часов в зале; чего доброго, пропустишь, когда пробьет два, время прихода мужа и время обеда. За этим, конечно, следуют неприятности. Мать Павлуши принимала все меры, чтобы сделать из сына тихого ребенка, который бы не нарушал гармонии семейного быта, был вполне прилажен к ровному, тихому житью; в видах достижения своих целей она словно маком опаивала, нагружая его разными наставлениями о кротости и смиренстве. Мать была крайне счастлива, видя, что из Павлуши выходил не сорванец, а «дите», имеющее терпение почти молча высиживать целые дни около матери, смотреть на кухарок, являющихся за приказанием: «класть ли корицы или нет?», слушать, как где-то вдали, в кухне, едва внятно стучат ножами. Такие доблести сына поощрялись лакомствами, развивавшими самые назойливые из всех прихотей, – прихоти приятных, чувственных ощущений, что сделало Павлуше много вреда впоследствии. А в ту

пору отец, мать и толпы родни не нарадовались на такое послушное дитя, которое мало-помалу делалось вялее, апатичнее.

Под мертвящим влиянием такого воспитания, – в сознании Павлуши ослаблялись даже такие, хватающие за сердце впечатления, которыми изобиловали последние годы Севастопольской войны, последние годы крепостничества и взяточничества. Такие впечатления Павлуше приходилось испытывать довольно часто, слушая вопли и видя слезы «просителей», и в особенности тогда, когда этих просителей приводила к его отцу некая весьма замечательная женщина, известная под прозвищем «Семениха», всегда приносившая детям Руднева лакомства.

2

«Семениха», со всеми ее особенностями, сформировалась из условий всепоглощающего в те времена значения «чиновничества», царившего надо всем городским, сельским и землевладельческим населением России; чиновническое царство, насквозь проевшее кляузой и взяточничеством, допускавшим всякую неправду, и население того города, о котором идет речь, – зародило в неглупой голове вдовы мещанки Гребенкиной весьма практическую и несомненно гуманную мысль – стать посредницей между простым, измученным народом и взяточником-чиновником.

В то время, к которому относится этот рассказ (то есть в <18>55–56 г<оду>«, ей было уже лет 40, стало быть, по половице, бабий век оканчивался, но, несмотря на это, в иную пору мороз мог-таки поживиться на счет ее пухлых щек, всегда подвязанных и поэтому слегка сжатых беленьким платочком. В эту пору она уже давно работала на адвокатском поприще; слава ее росла с годами, и имя Семенихи процветало вместе с усовершенствованием искусства по части знакомства мужичьих кошель со всеми кошельками всякого размера, вплоть до дырявого кармана в жилете самой мелкой канцелярской сошки. В силу этого процветания год от году больше и больше съезжалось на ее двор деревенских мужиков с просьбами, так что она должна была отворить наглухо

заколоченную половину отцовского дома, а у ворот, в видах барышей от приезжего народа, бойкий мещанин распахнул лавчонку и скоро нашел удобным к дегтю и сену присоединить гербовую бумагу, чернила, перья, сургуч; вместе с этим посреди Семенихина двора воздвигнулся навес, какие бываю́т на постоянных дворах.

Так как грамоте Семениха училась на медные деньги, а приезжим мужикам нужны были разные прошения, то шлялся к ней для этого дела некто, известный под именем Борисыча. Когда-то он служил в одном из судов, но оттуда выгнан; нищенствуя, он нанимался в разные канцелярии дежурить за других, получал за это четвертак и за такую сумму отдавал себя вполне на общую жертву. Многие шутники из неоперившихся писцов употребляли его на свою потеху, заставляли петь петухом, поили пьяным до иступления, сажали на шкаф, надевали на голову бумажный колпак и зажигали его... А Борисыч и не чувствовал, как у него на середине головы выгорала просторная плешь. Пение петухом обратилось у него впоследствии в привычку, и он с особенною ловкостью и тонкостью мог изобразить разницу в пении аглицкого петуха и курского или орловского. С этою забавою он по праздникам шлялся между чиновниками, старался попадать после обедни, когда обыкновенно везде едят пироги, и получал тут рюмку или две водки. Если ему, наконец, претило пить, он не возвращал рюмку назад, а выливал ее в полштоф, который был повешен у него на пуговице. У Семенихи он

обитал в кухне в сборной комнате, где и строчил просьбы, и за двугривенный мог настроить какую угодно клязу.

Тут же в кухне прислуживала взятая Семенихой из милости старушка Митревна; ее считали полупомешанной от потери сына, которого «угнали» в солдаты. Она ходила просить за него, но оказалось, что все дела она вела и просьбы подавала швейцару в казенной палате, который изумил ее своим видом и золотой палкой, перебрал с нее множество денег и, наконец, уговорил идти в Питер, откуда ее, конечно, препроводили по этапу, и с тех пор она тронулась в уме.

Борисыч и Митревна были обитатели кухни. Сама Семениха помещалась в чистой комнатке, приветливо смотревшей на улицу чистыми стеклами и чистыми занавесками. Здесь принимала она голов, старост и водила с ними чай. Такая необычная деятельность Семенихи непременно должна была злить соседей и соседок; злить именно в силу единственного обстоятельства, что «не нашего поля ягода». И поэтому, вместе с вступлением Семенихи на ее служебное поприще, начались против нее всевозможные козни и ухищрения, как бы ей отомстить, ущипнуть при случае. Все это Семениха называла «злыднями», продолжала без внимания оставлять разные слухи о том, будто бы она, Семениха, хлыстовской веры, и делала свои дела. Дела эти ей удавались, потому что она умела «понадобиться» тому, в ком нуждалась сама. От этого в быту нужного ей чиновничества она была «своя». Дети ее любили и с особенною радостью ждали

ее появления, ибо знали, что вместе с ней явится полфунта каких-нибудь сластей: пряников, грецких орехов. Чиновные жены души в ней не чаяли, ибо не было другой такой душевной женщины, как Семениха. Случись заболеть ребенку, они не задумывались посылать за нею, и та мигом распознавала, откуда взялась лихая *болесть*. Для этого она клала в самоварную крышку несколько угольков, посыпала их гвоздикой, становилась около больного, приговаривала и дула на уголья.

– От девичьего глазу...

Не щелкает.

– От мужского...

Тоже.

– От бабьего...

Щелкнуло!..

Корень зла отчасти найден, и стоит только пустить в оборот бабьи умы и соображения, как тотчас отыскивается и сам виновник зла.

Или вдруг нападет на чиновницу этакой необыкновенный стих: захочется ей и платье вытащить на солнце просушить, захочется ей пережечь всех насекомых в своих кроватях, перемыть всех ребят, и стоит только Семенихе снять свою шаль, засучить рукава, как все это закипит и зашумит мигом.

Таковыми подвигами Семениха умела обставить так свою особу, что впоследствии даже одно появление ее производило самое приятное впечатление.

Заручившись, таким образом, где нужно, Семениха смело

принималась за свои ходатайства, но при этом далеко хорошила свою смелость от начальственного взгляда, твердо зная, что повиновение и почтение, кому нужно, – вещи не бесполезные.

Подступает рекрутский набор. Пронесся слух, что кто-то вывел мелом на воротах одного дома стишок: «радуйся, вор, близко набор». Некто насажал на воротах двухтесные гвозди и распустил слух, что это от бескорыстия: мужики все к нему ходят; пускать не приказал, – через забор полезли, так это все от этого. А на двор Семенихи валяются мужичьи дровни: полна народом горница, полна кухня, на полатях, на печи – везде народ. Семениха ласково принимает всех, горюет общим горем и, благословясь, принимается хлопотать по начальству. Собирает она горемычных отцов, надевает свою заячью шубку, и плетутся они раненько куда нужно. Семениха идет впереди мужиков коноводом и все размышляет, как бы лучше этому делу пособить? С этой целью она часто оборачивается к мужичкам, останавливает и дает им разные советы:

– Тут скоро, милые мои, – говорит она, – советник живет... У него теперича кучеру приказ, бытто не пущать... Ну, это только для виду... авось неровно кто к *самому* сходит, обжалится, дескать, у советника не пущают, избили... это им лестно... Ну а вы, детушки, сложитесь по семитке, да кучеру ихнему Петру Петровичу и дадим... Авось бог даст!..

Просители вынимают гривны, и шествие продолжается.

У ворот Семениха погремела кольцом, и скоро явился взбешенный кучер и тотчас был усмирен.

В сенях битком набито народу; словно на святой неделе, ждут, скоро ли отворятся двери, только жданье это, без сомненья, не с такими светлыми чувствами. Кучер, пока не звонят у ворот, толкается в сенях. Старички робко пытаются завести с ним разговор.

– Я чай, жутко по перву-то началу?.. – спрашивает один.

– Нет, наш барин добрый.

– Ну, все, чай... должность большая у него?

– Это точно. С перву началу – точно... бытто оторопь... с непривычки.

– Так-так!

– Бывало, дрожишь... Трясь такой тебя хватает – страсть.

– Так-так!

– Ну, теперь привыкли.

В это время Семениха шепчет своим клиентам:

– Как перед него... сейчас в ноги!..

Семениха первая пробралась в переднюю. Мужики рухнули на колени.

– Рано, рано, никого нету... Эко грохнулись! – шепчет им Семениха.

– Что там за шум? Затворите дверь!.. – слышался из соседней комнаты советницкий голос.

Скоро, однако, советник вышел в халате, сел на стул и стакан чаю на коленке держит. Семениха первая опускается на

колени, подстилая на землю полу своей шубки.

– Федор! Кузьма! – шепчет она мужикам и кланяется советнику в ноги.

– Явите божескую милость!

– Как бог, так и вы!

– Батюшка заступник!.. – шепчут мужики, а советник молча смотрел на них, как должное принимая божеские почести, и прихлебывал с блюдечка чай.

Вслед за Федором и Кузьмою Семениха подводила и других клиентов и с тонкостью излагала, в чем дело, не забывая стоять постоянно на коленях.

За ней вползали новые посетители, вводили «охотников»³, несколько баб выло и причитало.

И с своими горемычными Семениха мытарилась в эту пору дни и ночи. К ней адресовались «охотники», шли рукобитья; она сама зорким глазом следила, чтобы охотник, взявший последние мужицкие деньжонки, как-нибудь не улизнул. Тут же передавались «квитанции», шли магарычи.

Такая беготня и возня шла вплоть до самого приема, и, очевидно, она была небезвыгодна для Семенихи. Но среди неизбежного горя теплое слово бывает дорого. Благодарность Семенихе иные посылают хоть за то, что, лишившись детей, что было неизбежно, они благодаря ей не лишились

³ *Охотник* – подставной наемный рекрут, идущий на военную службу взамен другого лица, заплатившего ему за это, что не возбранялось правилами рекрутского набора.

своих стариковских зубов.

Сидит Семениха у чиновницы Рудневой, и пьют они чай.

– Шла я из рядов, – говорит чиновница, – что народу-то там, около приему-то...

– Ох, не говори!.. – искренно соболезнает Семениха.

– Такое вытье!.. Что ж ты чаю-то?

– Не пьется что-то!..

Семениха вспомнила, что в форточку от Рудневых слышно, как «около приема» воют бабы, потому что губернское правление было недалеко. Она встала на стул, открыла форточку, и действительно сначала стон чуть-чуть слышался, но ветер дунул в лицо, и ухо ясно различило в принесенном вопле тысячи воющих человеческих существ, словно посаженных в печь огненную.

– Ох, мать!.. Я пойду потолкаюсь! – шепчет Семениха с смертельною болью в сердце.

– Что ж... и Пашу прихвати... Фекла! одень Пашу-то!.. – Пашу ловили где-нибудь в саду с салазками и, отчистив от снега, вели к приему. На пути попадались рекруты с истощенными, испуганными лицами, к которым так не шли черные наушники и мелкие, плоские фуражки; через улицу переехали мужичьи сани, в которых сидели пьяные мужики, один (охотник) без чувств лежал в санях, а ноги его волочились и подскакивали по снегу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.